## А замок спал и видел сны

7 января 1535г.

Жизнь закончилась, когда на апостола Андрея нас с отцом сбила карета. Странно, я отчётливо помню жёлтые с чёрным занавеси на окнах, пляшущих свиней и леопардов на гербе – и ничего больше. Всё остальное мне рассказали позже. Как карета даже не приостановилась. Как отец успел отшвырнуть меня с дороги на обочину. Как долго и страшно он кричал, пока маг-целитель не отнял боль… вместе с переломанными ногами. Как я стояла, опустив руки, комкая алую ленту, и смотрела вслед карете, хоть она давно скрылась за Собачьим островом. Соседи думают, что я сумасшедшая. Я знаю, что они правы.

Потому что кроме полосатых занавесок, кроме вытертых розовых свиней и похожих на львов леопардов я помню мелькнувшее в оконце красивое женское лицо, искажённое болью и неизбывным ужасом. И помню… нет. Священник, которому отец заплатил за мою науку двух овец, не научил меня, как выразить чернилами и гусиным пером то, что я тогда почувствовала. Что-то сдвинулось тогда в мире и в сердце – и меня… тянет. Тянет, тащит, не даёт забыться даже в молитве.

Спаси меня, Господи, и сохрани, на тебя уповаю.

P.S. матушка снова достала иконы. В доме, где прежде стучал молотком отец, тачая сапоги, слышишь только молитвы, вдыхаешь только запах ладана. Ладан и свечи. На что мы будем жить остаток зимы? Мне приходится заставлять себя об этом думать, а мама… кажется, она ещё более безумна, чем я. Или – нормальна? Дева Мария смотрит так пронзительно. С такой тоской, словно понимает, но я…

25 января 1535 г.

Не знаю, сколько ещё я смогу сопротивляться. Ночами просыпаюсь, сидя у окна, глядя в закрытые ставни – точно туда, где горит северная звезда. Словно искра по щелчку пальцев. Я – не я – снова я. Безумие. Одержимость, которая не бежит молитвы. Щёлк: я читаю “Отче наш”. Щёлк: я стою, упираясь носом в дверь, с сапогами в руках. Облатки рассыпаются вкусом пепла на языке.

И новое знание: когда нет шиллинга на хлеб, он всегда найдётся на стакан дешёвого бренди. Оно успокаивает боль в ногах и мешает работать руками, а приданое уходит за один вечер в кальянной рядом с трущобами у порта. Приданое.

Прежде отец воротил нос от соседей – как же, мастер, с достатком! – а теперь я – нищий перестарок. Пятнадцать лет, заневестилась, и за душой ни гроша. Монастырь? Стоит ещё дороже. Остаются только приют или канава на тракте после борделя. Грех, но меня это не пугает. Осталось презрение к отцу, жалость к матери, тоска по брату. Будь он здесь, всё могло бы сложиться иначе, но “Донна”, его когг, не вернулся в порт в декабре.

Когда я это пишу, мир на минуту, две становится настоящим, ярким, колет чужим страданием, обволакивает тоской и отчаянием, но стоит закрыть дневник: и снова исчезает всё, кроме желания уйти на север. Безумие. Даже старики не помнят такой холодной зимы, а ведь тёплой одежды, еды у меня нет.

Сколько пройдёт ночей, прежде чем это перестанет иметь значение? Во сне я не могу взять перо, окунуть его в чернила.

Нужно попробовать спать днём. Близится полночь, и, если я смогу досидеть до утра, то наве

-- января?

(неразборчиво) холод. Невозможно. Я не могу (вычеркнуто). Два дня. Проклятые два дня, и где я… сборщики долгов. Они увели отца, но… мама! Она ведь одна, там. Старая. Безумная – и да простит меня Господь, к лучшему. Хотя бы не понимает (неразборчиво) завидую. Не могу не писать. Пустая берлога, повезло. Зачем я другой мне? Зачем я себе – ради боли, страха? Слушать вой ветра, вздрагивать от воя волков? Жадно грызть снег. Алое на белом. Рвёт хвоей. Не хочу быть. Пусть исчезну, но (вычеркнуто) не могу не писать. Если кто-нибудь найдёт дневник – меня ведёт на север, на ладонь к востоку. Пожалу

Без даты

Ночь. Йорген-швед рассказывал, что высоко в горах дыхание иногда звенит, падая с губ. На самом севере. В Финмаркен. Голос звёзд, так он говорил. Когда звёзды говорят, нельзя двигаться быстро. Душа может уйти в небеса. Душа моя. Моя душа. Можно ли писать на бегу?

Лето!

Пчелиные соты – это кусочек солнца. Дар богов. Бога. Ха. Ха-ха. Почему я записываю смех? Он не журчит. А что делает? Точно, шуршит, воет и каркает. Нельзя записывать – ему от этого больно.

Белый свет мешает пальцам зажить, и на страницах полно зелёных пятен, зато чернила не замерзают. У меня внутри тоже солнышко. Зерно. Совсем маленькое, но светится и греет. Растёт.

Растёт – забавное слово. Растёт – Рас и Тёт, а тёт – это тётя. Или тета? Четыре, хотя и раз. Четыре похоже на чернила. Что чернила? Что чернила? Чем? Бумагу – пером. Смешно. Солнечно. Лепестково.

Встретимся летом! Я буду красивым подснежником!

Раскрываюсь свету.

13 февраля 1535 г.

После того, как я пришла в себя, несколько дней горло отказывалось произносить слова. Не получалось даже писать: разум отказывался составлять предложения, чтобы перенести их на бумагу. Но впервые за последний месяц я помню всё. Может быть, потому что дошла, может, благодаря магии суетливого целителя, но – помню, и мне стыдно за зверя, каким я была. Грязный оборвыш в лохмотьях красного плаща, кидающийся на ворота, неспособный даже понять, что можно постучать. Обжигает изнутри память об урчании, с каким я пожирала горячую кашу, как рвало, корчило в судорогах. Что изменили во мне платье, ванна, тёплая кровать, шепот и испуганные взгляды горничных? Где граница между снова стать человеком и вновь казаться человеком?

Сны приносят голос того, к кому я шла, рассказывают, мечтают. Порой их слышно даже наяву. Я ещё плохо понимаю их, но с каждой ночью – всё лучше. Вера. Уверенность. Сила, бьющаяся в самих камнях. Всё это есть во снах – ничего этого нет у меня.

Зато теперь есть много времени для дневника, хотя новая чистая кожа на пальцах болит от пера. Сказка во плоти! Сказка в добротной мебели, белоснежных простынях, красивых платьях с чужого плеча. Волшебный мир под холмом, думаю я, и губы невольно кривятся в горькой усмешке, стоит взглянуть на лес за лугом через решетку на окне.

Всем знакомы истории о ведьмах, заточенных в хрустальные гробы, в высокие башни, пока на них не набредёт достаточно глупый принц, чтобы поверить в невиновность, невинность и предназначение. Герой, не понимающий того, что от некоторых существ лучше оградить мир, если их нельзя или не получается убить. Легенды. Сказки. Теперь такой тварью стала я, и у меня уже есть спаситель!

Беда лишь в том, что ему всего лишь несколько месяцев, и он родился в карете именно в тот миг, когда колёса переломали ноги моему отцу. Лекарь бросал отрывистые фразы, надеясь, что я не пойму. Импринтинг. Запечатление.

Пора начинать отращивать волосы, потому что – спаси, Господи! – я всё равно ничего не могу с этим поделать.

P.S. Слово “предназначение” на бумаге выглядит лучше, чем “запечатление”. О нём проще думать, но так хотя бы не получается себя обманывать. Меня просто – взяли. В миг рождения, ничего не понимающий новорожденный. Боже мой...

16 февраля 1535г.

Сначала я думала, что они все просто не знают, что со мной делать. Покои в самой высокой башне, молчаливые горничные – одинаковые, в синих платьицах, редкие визиты лорда и госпожи – без разговоров. Они просто... смотрели, и от этих взглядов у меня горели щёки, словно я – виновата. Словно не лорд выбрал в любовницы кого-то из народа холмов, а я специально попалась на дороге.

Горничные тайком, думая, что я не вижу, пересчитывают столовые приборы, следят, чтобы не пропал какой-нибудь ножик. Собирают все осколки от разбитой тарелки, словно обожжённой глиной можно пробить дыру в каменном полу или стенах, будто она способна снять обереги с двери.

Впрочем, для стыда почти нет времени. Я часами сижу под дверью, гладя кончиками пальцев толстые доски, ощупывая петли, чувствуя покусывания чар. Они направлены не против меня, нет, но я чувствую их всё равно, через сны. И ужас в серых глазах Элис, младшей из девушек в синем… тогда я не удержалась и заскулила от жажды вырваться, прогрызть дверь, сбежать по лестнице, в подвал, разбить стену. Элис смотрела на меня, и жалость, непонятный испуг во взгляде жгли огнём, пусть в башню и пробирался холодный ветер. Тогда – жёг, но теперь это воспоминание, это чувство потускнело, сменилось другими. Я сижу на каменном полу под дверью, и это состояние – почти молитва.

Наверное, я и молюсь, сама не сознавая, кому. Молюсь, чтобы оно закончилось – так или иначе.

Почему они держат меня взаперти? Почему – в башне? Я не понимаю. Не понимаю, почему меня можно бояться – неужели я схвачу этого младенца и убегу в метель?

Нет. Я не могу сказать точно, но кажется, что сейчас мне хватит просто свернуться рядом – и чувствовать слёзы на щеках. Потому что это будет последней испитой каплей унижения.

Я больше не могу думать о матери.

P.S. Прости меня, Господи, ибо осуждала я отца своего за пьянство, за то, что не может не пить. Больше – не осуждаю. Кажется, на апостола Андрея карета переехала нас обоих по-разному, но одинаково.

(запись на полях, отмеченная буквами NB!)

Не знаю, стоит ли писать это здесь, но, кажется, никому нет дела до моего дневника – вытертого, излохмаченного, с покоробленными страницами. Может, им противно к нему прикасаться? Неважно. Я должна записать хотя бы для того, чтобы не забыть: сегодня я отпустила на свободу первое письмо. Просто несколько строчек на мятом листе. Отпустила – и долго смотрела, как ветер уносит его прочь, через стены, в сияющую белизну леса. Мне хочется верить, что он улетит далеко – до Лондона, может, даже до моря, где пропал когг с красивым именем “Донна”.

Глупая надежда.

Пишу, и взгляд сам собой обращается к двери. Кажется, я просидела на подоконнике слишком долго.

19 февраля 1535 г.

Всем знакомы истории о ведьмах, заточённых в гробы или высокие башни. А кто слышал такую, чтобы опасных тварей было две, а замок – всего один? Если больше всего на свете вы боитесь, что они встретятся, но не решаетесь, не в силах убить?

Башня за дверью, зачарованной снаружи – от того, кто мог бы войти, не от меня! – и подвал, где в крошечной камере без окон, заложенной камнями, под материнскими чарами, оставлен умирать младенец. Как можно дальше одно от другого.

Мне повезло больше. Меня кормят.

Не могу писать. Не могу уложить в голове, кем нужно быть, чтобы… чтобы замуровать своего ребёнка в подземной камере, в надежде, что он умрёт? Это настолько неправильно, что я невольно задумываюсь, не видят ли и остальные люди в замке – сны? Только не такие. Не о мире с высокими деревьями и голубым, как платье, небом, но – другие? Не знаю. Могу ли оправдать это страхом? Могу ли осуждать – я, жертва, взятая чудовищем в миг рождения?

И ещё думаю, что убивать вот так… куда более жестоко, чем разом. Пронзить холодным железом, разбить голову. Почему – так? Медленно, в темноте и писке крыс, в шорохе лап и пронзительном прикосновении мокриц?

Возможно, потому, что убить иначе – не могли.

Пробовали ли они?

На этой мысли я сбиваюсь, раз за разом. Примеряю её на красивых и – добрых ли? – людей, на лорда и леди безымянного замка, и оно не подходит, не налезает. Видит Господь, дело даже не в красоте и нарядных платьях, просто... я смотрю глубже, за белила, румяна и подкрашенные ресницы. Смотрю – и вижу боль за алебастровой кожей, тоску и непонимание в огромных зелёных глазах. Сочувствие – к себе, ко мне? К замурованному ребёнку? И это не игра – не только потому, что передо мной играть нет никакого смысла. Просто лорд видит это тоже. Трогает длинный рукав, скользит пальцами по шёлку и тут же отдёргивает руку, и главное – смотрит. С той же болью, которую прячет хуже, гораздо хуже, с чувством вины, которого не скрывает вовсе. С тяжёлым осознанием правоты – как, Господи?!

И горничные счастливы жить здесь – такое не подделать. Забывая о моём присутствии, щебечут о лентах, ярмарках, подаренных перчатках или даже книгах, о том, что леди не скупится на лекарей даже для заболевших крестьян.

И всё-таки… пробовали ли они?

25 февраля 1535 г.

Я приспособилась. Смирилась с совпадением, отсутствием выбора, привыкла. Даже снова начала вышивать. Мама всегда говорила, что у меня выходят лучшие вышивки в Актоне, и сейчас это помогает. Игла с ниткой в руках под тихий голос Элис – ей нравится читать именно здесь. Говорит, что в комнатке, которую она делит с тремя другими горничными, никто не ценит Рабле, а я – слушаю.

Мне не хватает духа сказать, что слушаю я не её. Да в этом и нет нужды. Игла, голос – помогают казаться нормальной. Впрочем, а какая я? Изменилась потому, что меня взяли, или всегда была такой? Я вроде бы понимаю, что должна бы чувствовать иначе, по-другому, но уверенности нет. Если не можешь отличить настоящее от навязанного, есть ли разница, на самом деле? Может быть, я – помню неправильно? Может, для истинной себя мне просто не хватало той кареты, дороги через лес, безумия, шепота во сне? Кто я?

Без ответа мне остаётся только шить и слушать. Строки Рабле накладываются на зуд в пальцах, шелест гобеленов и тихий скрежет камней.

“...людей свободных, происходящих от добрых родителей, просвещенных, вращающихся в порядочном обществе, сама природа наделяет инстинктом и побудительною силой, которые постоянно наставляют их на добрые дела и отвлекают от порока...”

Слова грызут изнутри, несмотря на мягкий спокойный голос. Осталась ли у меня честь? Стыда уже нет, а возможна ли она без него? Не знаю, но скрываю улыбку, чувствуя, как сны оплетают замок, людей в нём, каждую комнату. Вы ведь знаете, что дома – живые? Они вздыхают, скорбят и радуются, защищают – и их тоже можно заморочить. И тогда люди начинают сходить с ума.

Я этому рада. То, что ждёт… тот, кто ждёт в подземелье – не ребёнок. Наверное, чудовища растут быстрее людей, и он – и ребёнок, и нет. За считаные месяцы словно прошло несколько лет, и он обещает, что уже совсем скоро станет взрослым.

Я прячу улыбку. Может быть, из подземелья выйдет прекрасный принц – говорят, волшебный народец красив, – но те слова, что доходят до меня, те чувства – от них исходит детское нетерпение, обида, непонимание. Для него это всё – игра, затеянная для чего-то родителями. Игра, в которой он лишь чуть изменил правила.

Мне не хватает духа ему сказать, и я жду и улыбаюсь.

Элис улыбается в ответ. Наверное, ей кажется, что мне нравится книга.

Наверное, так оно и есть.

Мне жутко. Что за создание, способное выжить – так? Способное исподволь переломить чары, опутать паутиной весь замок?

Что я – рядом с ним?

Зачем я?

Элис переворачивает страницу. Пустота с вышивкой в руках улыбается и одобрительно кивает.

28 февраля 1535г.

Почти. Ещё немного. Теперь я почти вижу замок – чувствую шаги по коридорам и ступеням, чувствую движение воздуха, когда открывают дверь. Я путешествую вместе с горничными, стражниками, чаще всего – с леди и лордом, которых замок привечает особенно: машет уголками гобеленов, качает портретами, необычно громко поскрипывает лестницами, отвечая на случайную ласку руки, на улыбку.

Игра продолжается, и люди живут во сне, где правила – свои, а законов нет вовсе. В нём можно верить, что в груде лука скрывается золотая луковица, исполняющая желания – и я не могу прошептать сквозняком, что скоро придёт злой карлик. Можно представлять, что всегда – время обеда, что лучший способ жить – перерезать себе горло. Можно спокойно вытирать лужу крови, считая её разлитым ароматным вином с юга Франции. Можно взлететь из окна в твёрдое чёрное небо, промороженное февралём, с пятнами изморози и снега, можно раздеться догола и сидеть, посасывая чубук кальяна и считая себя самым прекрасным существом на свете – так, что в это поверят и другие. Во сне нет ничего странного в том, что ты не можешь найти дверь наружу, что давно не приходят торговцы.

Главное – в этом сне очень легко решить, что одну из стен в подвале нужно сломать.

Я чувствую их всех, вижу – не глазами. Мне больно, когда льётся кровь, страшно за людей, потому что они не испытывают страха. Сны накатывают и на меня, с ними всё вокруг кажется мягче, спокойнее, нормальнее. Я пишу про чувства, почти их не испытывая, потому что знаю – они должны быть.

Вы когда-нибудь чувствовали себя одновременно пауком и мухами?

Я – замок. Я жру сама себя.

Наверное, я могла бы объяснить тому, кто в подвале, что он делает с людьми. Возможно, не смогла бы.

Образ: мальчишка обрывает крылья бабочкам и недоумевает, почему они больше не летают.

Я виновата тем, что не пытаюсь.

Виновата тем, что не чувствую.

Виновна в том, что жду ударов кирки – содрогаюсь в предвкушении счастья – свободы! – сжимаю ноги в предчувствии боли, выгибаю спину заранее и комкаю кружево.

Укол боли – и я с недоумением смотрю на иглу, торчащую из подушечки безымянного пальца.

Эта не та боль, но становится чуточку легче. Пустота красноречива, но я – ещё не она, и мне не хватает слов. Надолго ли?

P.S. Длины иглы достаточно, чтобы пройти ладонь насквозь.

P.S.S. Элис больше не приходит. Наверное, потому, что осталась в комнате одна. Я иногда смотрю окном, как она читает. У неё тоже изрезаны руки, страницы запачканы кровью так, что не видно слов, но Элис – читает. Мне кажется, она будет читать, даже отними у неё книгу.

1 марта 1535 г.

Солнце греет меня снаружи, но внутри, в залах и коридорах стоит стылый полумрак. Стёкла решили перестать быть прозрачными, а дров никто не приносил уже давно – да и откуда? Выжившие не могут найти дверей, да и не ищут, находя самые разные причины этого не делать. В замке много работы. Пусть кто-нибудь другой. На дворе сожрут птицы.

И мне больше не приходится кусать губы от смертей. Мне кажется, тот, кто сидит в подвале, всё-таки меня понял. Или просто – понял. Повзрослел?

Игла проходит через руку ещё трижды, ведя за собой серую нить. По разу за минуту просветления, в которую я боялась даже попробовать объяснить, что такое смерть.

Те, кто выжили… он клянётся, что отпустит всех, но потом, потому что сейчас ещё – рано. Мне не остаётся ничего, кроме как верить и спать.

Дверь не поддаётся.

Еду не приносили уже три дня.

Удар кирки подбрасывает меня на кровати. Раз, другой. Грохот камней, режущий глаза свет факела, железо ржавой кольчуги. Неуверенные шаги стражника под хруст крысиных косточек. Один заходит, чтобы один вышел. Таковы правила. Одно меняется на другое.

Только ударившись о дверь я понимаю, что выхожу не я – и всё равно ликую.

Вместе с ним. За него. Остаётся мелочь – выйти из подвала, найти башню через скрывающие её чары, отпереть дверь…

Я не напоминаю об обещании, он говорит об этом сам. Теперь он сможет заставить родителей понять. Принять меня – простолюдинку, хамку – невестой. Дать ему имя. Настоящее имя, а не ощущение лета, не чувство, не образ. Только имя делает настоящим в мире людей.

Я рада? Я смотрю на подвал. На камеры, куда набились те, кому было, что искупать. Теперь я понимаю. Мороки не могут навязать то, чего нет. Только усилить то, что и так кроется внутри.

Я делаю то, чего не делала уже день – смотрю на Элис. Она лежит на кровати неподвижно, прижав к груди книгу, и я пугаюсь – пока не замечаю, что она дышит.

Я рада.

2 марта 1535г.

Ночь? Раннее утро? Не знаю. Присутствие. Чужое, но знакомое. Незнакомое, но я его знаю. Я почувствовала, как открылась дверь во двор, и кто-то вошёл. Невозможно. Чары отводят глаза всем, кроме… меня?

Я скольжу по замку от портрета к портрету, от камня к камню, ниже, туда, где неторопливо идёт, меняя коридор на коридор, чужак… и останавливаюсь. С недоумением смотрю на брошенный на пол мятый листок, исписанный знакомым – моим! – почерком, и начинаю понимать. Письмо, весточка наружу, о которой я успела забыть. Ветер всё же принёс его в нужные руки, и я понимаю, что должна радоваться, но не могу сдержать грусти. Письму очень одиноко на полу, и не его вина, что размытые строчки уже ничего не значат для...

А потом я узнаю этого мужчину, и несколько ударов сердца не дышу. Когда не дышишь, оно бьётся всё медленнее, словно растягивает время, чтобы не остановиться вовсе.

Слишком давно мы играли, бросая камни в Темзу, чтобы его узнать. Слишком ярко я вижу сейчас, как плещут волны под летним небом в редкие часы, свободные от работы. Слишком хорошо помню, как эти прищуренные, настороженные глаза умели щуриться в улыбке. Слишком давно...

Знакомый мальчишка, незнакомый мужчина идёт через кухню, подозрительно оглядывает портреты в галерее, проверяет острием меча гобелены. Брат. Мальчишка, некогда мечтавший стать героем. Мужчина со шрамами на лице и холодным пустым взглядом, разделяющий со мной кровь, которая суть душа. Мороки соскальзывают водой по воску, и он видит мир, как есть, но – не видит. Потому что пришёл спасать сестру от чудовищ. И когда на звуки выламываемой двери выходит последний стражник, оставшийся наверху, слишком хороший, чтобы тьма в душе заставила спуститься в подвал...

Нет. Пожалуйста. Не надо.

Брат шевелит губами, отступает, и стражник тяжело шагает за ним. Он не спал уже четыре дня, а званый гость заносит меч...

Я шепчу тканью, зову ветром, пытаюсь объяснить, сказать, что уже – поздно, и с самого начала было поздно, но не успеваю, и меня выгибает ударом меча по бедру. В горле стынет крик, а ногу уже схватывает жгут – крепко, до онемения. До пытки.

Где сестра. Как отсюда выйти.

Не вопросы. Утверждения, острые, как кровельные гвозди.

Стражник не может ответить, не может думать ни о чём, кроме мороков, что вьются вокруг – и я стыну ужасом в глазах одной из девушек в синем платье. Бегу прочь, через охотничью комнату, за люк наверх. Спастись от чудовища, стоящего с окровавленными руками над телом. От спасителя.

Господи, сохрани и помилуй.

Я молюсь, чтобы он пришёл прямо ко мне, прямо в башню, но не могу направить. Только смотреть. Чувствовать каждый шаг.

И кусать руку, чтобы не кричать.

Замку больно. Как больно…

Он идёт вниз. Туда, куда ушли все те, кто…

Позволь мне стать пустотой, Господи!

Не позволяй мне стать пустотой!

Лезвие рассекает кожу, раскалённое железо заставляет корчиться и отползать – но мне никуда не деться. Я здесь – я там. Я схожу с ума – я мыслю так ясно, как никогда прежде.

Что с тобой стало? Что с тобой сделали?

Что я делаю с тобой?

Я виновна, ибо привела брата своего…

Не сразу понимаю, что кричу.

Странно. Я столько раз чувствовала, как ломаются пальцы, но могу держать перо. Просто руки кажутся чужими.

Когда брат поднимается обратно, я радуюсь тому, что внизу ещё остались живые… чудовища, как он с отвращением выплёвывает. Монстры.

Когда брат поднимается обратно, мне хочется забиться в угол и ничего не чувствовать. Потому что наверху – лорд, потому что там – леди. Они пируют в замке, не осознавая ничего вокруг, и тоже не смогут ему ответить. Меня рвёт этим пониманием – желчью, до выворачивания наизнанку и боли в горле.

(время вымарано)

Слова на страницах появляются сами по себе, словно мороки истекают чёрной кровью. Я пыталась рассказать… нареченному, умоляла его что-то – что? – сделать, но он слишком растерян тем, как перевернулись правила игры. Игра! Всего лишь игра... Уже не ребёнок. Ещё не взрослый. Поэтому я – ради боли и сладкого страдания – смотрю глазами брата.

Когда-то мы с завистью глазели на золочёные кареты, корнуолльских лошадей, смеялись, когда какой-нибудь барончик с руганью летел в грязь, поскользнувшись на дощатом настиле. Сейчас брат – и я вместе с ним – смотрит на улыбающуюся женщину в алом, направив на неё арбалет. Виновница. Королева эльфов, главное чудовище, заморочившее всех, укравшее сестру, искалечившее отца. Я бьюсь в разум, пытаюсь пробить возведённые в нём стены, но брат подготовился хорошо, а я – не маг. Ведь слова – это не волшебство.

Женщина в алом улыбается, и я внутренне сжимаюсь, ожидая волны ненависти к ней, сомнения, страха, но нет. Брат улыбается в ответ, и меня чуть не выбрасывает наружу от его равнодушия. Пустоты. Он не понимает – нет, он не хочет понять. Только видит, что женщина не боится, и я испытываю облегчение. Пусть он ошибается, пусть думает, что она не боится не потому, что не видит арбалета, а просто считает себя неуязвимой. И в том, и в другом случае незачем давить пальцем рычаг, спуская с привязи тетиву, незачем убивать, незачем…

Арбалетный болт сметает женщину со стула, и я хохочу вместе с лордом, выкрикиваю бессмыслицу, захлёбываясь желанием сорвать мороки, вскочить, достать меч. Я чувствую, как на человека, перед которым убили любимую женщину, накатывает безумие – настоящее, а не то, что держит разум, мешая видеть, как есть, заставляя догадываться, достраивать. Я касаюсь его разума – и отшатываюсь от безумия, от ада, в котором плавятся мысли.

Я завидую.

Я тоже не хочу видеть, как брат, распоров алое платье, задумчиво смотрит на женщину и снимает с пояса охотничий нож. Я не могу отвернуться, когда он начинает вырезать из её спины ремни. Осознание приходит внезапно. Мыслями, не чувствами.

Защитные чары лучше всего смывать кровью того, кто их наложил. Ребёнка лучше всего сковать кожей той, что его родила. Это настолько жутко, что несколько секунд я серьёзно раздумываю над ритуалом – а ведь это не месть, это именно ритуал. Разумный, обдуманный. Рабочий.

Мой брат действительно стал героем. Вымоет ли он руки, прежде чем подниматься в башню? Уберёт ли с лица это выражение, сосредоточенное, серьёзное? Может ли он его убрать?

Когда он отрубает руку лорду – потому что такая рука откроет все двери, если правильно высушить, – я смеюсь вместе с хозяином замка. Ползу вместе с ним к камину, прижечь! Инстинкты оказались сильнее мороков, или просто они уже развеиваются, слабеют? Что для дома пылает ярче крови хозяев? Огонь сжигает фантазии. Железо их разрубает.

И когда сами собой открываются двери в зал, мой брат готов встретить того, кто идёт, притянутый уходом матери за вуаль. Он вооружён ремнями из кожи, кровью на руках. Даже на лбу виднеется смазанная полоса – работа оказалась трудной и долгой.

Я смотрю на двери его глазами, жадно – и поздно понимаю, что зря. Что так дом мог принимать его – за меня, позволить брату моему... поздно. И я смотрю на грязную, измождённую фигурку, возникшую из теней. Мой нареченный, моё проклятье. Сила и могущество в теле десятилетнего ребёнка.

И даже сейчас я – надеюсь, потому что брат не поднимет руку на ребёнка. Правда?

Когда перед глазами появляется кулак, сжимающий бело-красные тонкие полосы, я зажмуриваюсь.

Простите меня.

Умирающие мороки льнут ко мне, истекают фантазией. Я пытаюсь приласкать их, погладить, прошептать, что всё будет хорошо – как в сказке! – но руки проходят сквозь, ударяются о камни, о решётку на окне. Но они помогают видеть, пусть отрывки, кусочки, всё равно я цепляюсь за них, любовно разглядываю каждый камень, отчаянно жалея, что приходится видеть – так.

Когда они закончатся, останется лишь пустота.

Останусь я – и шаги на лестнице.

Скрежет по двери.

Молчание.

Стук.

Когда он придёт, я, Кэрол Саммерс… Кэрол без фамилии, обливаясь слезами, кинусь брату на грудь. У него сломана левая рука, значит, он обнимет меня правой.

В последние дни Элис и остальные горничные уже не следили за мной так, как бывало. И маленький ножик помещается в рукав.

Я – Кэрол, и ко мне идёт любимый брат.

Я – Кэрол, и у меня есть нож.

Я – Кэро… я – пуста.

Международный литературный конкурс «Пролёт Фантазии» - [http://fancon.ru](http://fancon.ru/)